

После «своих войн» юрист Слуцкий и ифлиец Самойлов (называю по старшинству возраста и воинского звания) снова встретились. И продолжилась их дружба-соперничество. Причем поначалу Самойлов находился под сильнейшим влиянием Слуцкого, которого тогда в веселом (поначалу) послевоенном кругу московской интеллигенции уже считали поэтом, а Самойлова еще нет. Слуцкий читал, Самойлов слушал. А когда начал освобождаться от «слуцких» влияний, произошла ссора. Омарившаяся отношения, но не помешавшая пожизненной дружбе. Возможно, прежде всего потому, что оба продолжали честно служить русской литературе. И каждый друг про друга это понимал.

Любимый субординацию Слуцкий как-то спросил Самойлова (и в этом весь Слуцкий):

— Дзизик, как ты думаешь, мы с тобой сейчас в первой десятке лучших поэтов или только в первой двадцатке?

Самойлов (и в этом весь Самойлов) ответил:

— Знаешь, Боба, по-моему, только в первой двадцатке, но что-то предыдущих восемнадцати не видно...

В нашей литературе, начиная с 60-х и по сию пору, не было и нет, к сожалению, ни восемнадцати, ни даже еще хотя бы двоих столь благородных и неограниченных людей (при этом — Поэтов), как Слуцкий и Самойлов. И оба они всерьез заботились о том, что будет после них. Слуцкий с молодыми поэтами возился, как дядька с барчуками. Поскольку читал буквально все, мог позвонить любому начинающему по поводу его публикации в областной газете. А когда молодой поэт звонил ему, первое, о чем спрашивал Слуцкий, было: «Вам нужны деньги?» — сам хорошо знал, что такое бедность.

Самойлов не оставлял без ответа ни одного письма (последние годы он жил в Пярну), без приватной или опубликованной рецензии — ни одной присланной ему книги. И умел обзаводиться молодыми друзьями, когда ему было уже далеко за шестьдесят.

Мне повезло. Я испытал на себе немногословную, но деятельную заботу Слуцкого и близкую дружбу Самойлова. Благодаря Слуцкому я легко и без унижений (что в середине 70-х было просто невероятно) «вошел в литературу». А в московской квартире Самойлова я прожил те два года, когда мне в Москве было

негде жить. И, конечно, я далеко не единственный, кому помогали эти двое, несмотря на свои собственные проблемы.

Здесь дело больше, чем в литературе (хотя русская литература — это уже очень много). Любимой нации в любом виде профессиональной деятельности необходимы Учителя (русской — достаточно молодой, вполне безалаберной и не помнящей родства — по-видимому, особенно). Иначе не будут воспроизводиться умения и навыки, секреты ремесла и уровень культуры, которые в конечном счете и делают нацию нацией. Опять же печаль даже не в том, что русские разучатся, например, писать стихи. Беда, что нация потеряет — как на войне — лучших, вырастающих именно благодаря этому специфическому способу воспитания души людей, поддерживающих ее культурный и нравственный тонус.

...Когда пришло известие о смерти Слуцкого, я был рядом с Давидом Самойловичем. Это случилось 23 февраля 1986 года. Для Самойлова — тяжелейший удар. Особенно невыносимо было ему сознание своей вины: он не успел приехать к Борису Абрамовичу в Тулу, где тот жил у брата. Последние восемь лет после смерти жены Слуцкий тяжело болел — одним из симптомов этой болезни было его нежела-

ние видеть кого-либо, кроме родственников, — и вот незадолго до смерти он захотел встретиться только с одним «неродным» человеком — с Дзизиком...

Кто тогда мог знать, что ровно через четыре года — 23 февраля 1990-го — не станет Самойлова?

Смерти настоящих поэтов никогда не бывают случайными. Слуцкий и Самойлов умерли не только в один день, но и — оба! — на переломе эпох: в России они замечали с калейдоскопической быстротой. Это значит, что в наступившие времена нам надо научиться обходиться собственными силами. Все уроки, которые должны были, они нам преподавали. Вопрос в том, усвоили мы что-то или нет.

● Олег ХЛЕБНИКОВ

Если уж нынче 23 февраля называется Днем защитника Отечества, я точно знаю, чей это праздник...

Один из них родился в Харькове, другой — годом позже — в Москве. Оба писали стихи. Но один пошел на юридический (приехал в Москву), другой — в знаменитый Институт философии, истории и литературы (ИФЛИ). Тогда Москва была еще меньше — они встретились и поружились. Потом началась война, и оба пошли добровольцами на фронт. Юрист недолгое время служил даже в военном трибунале.

Потом он об этом напишет:

Я судил людей и знаю точно,  
что судить людей совсем не сложно,  
только погода бывает тошно,  
если вспомнишь как-нибудь оплошно...  
Кто они, мои четыре пуда  
мяса, чтоб судить чужое мясо?...

Был и политруком.

На фронте получил тяжелейшую контузию. До конца жизни мучился от жестоких головных болей и бессонницы. В том числе благодаря ей написал очень много стихов. Ифлиец служил в полковой разведке. От смерти, скорее всего, его спасло ранение. Об этой войне он напишет хрестоматийные стихи «Сороковые, роковые...» — с такими вот строчками:

А это я на полустанке  
В своей замурзанной ушанке.  
Где звездочка не уставная,  
А вырезанная из банки...

Не правда ли, они прошли какие-то две совсем разные войны?

# Война на двоих



Фото С. КУЗНЕЦОВА

Февраль 1986 года. Самойлов над гробом Слуцкого в морге 1-й Градской больницы. В Доме литераторов панихиду запретили (так же было, когда умерла Ахматова).



Фото В. ПЕРЕЛЫГИНА

Давид САМОЙЛОВ

И жизнь и смерть бессмысленны тогда!

1968

Публикуется впервые

Не бойтесь!

Умираем только мы!

Пора уж узел затянуть

на глотке,

Принять снотворного,

опиться водки.

Нет сил для виселицы

и тюрьмы.

Наш тонкий слух,

наш изощренный глаз

И гибкое, испытанное

слово

Ничто пред слухом

вашего глухого

И перед словом каждого

из вас.

Но если вы обманете —

беда!

Какое будет всем

самопрощенье...

Вся сволота потребует

отмщенья...

Мне выпало счастье быть

русским поэтом.

Мне выпала честь

прикасаюсь к победам.

Мне выпало горе родиться

в двадцатом,

В проклятом году

и в столетье проклятом.

Мне выпало все.

И при этом я выпал,

Как пьяный из фуры,

в походе великом.

Как валенок мерзлый,

валяюсь в кювете.

Добро на Руси ничего

не имети.

## Дзизик и Борис Абрамович

Им было трудно друг без друга. А нам — без них

«Широко известен в узких кругах, как модерн, старомоден, крепко держит в слабых руках тайны всех своих тяготин... Смотрит на меня. Жалеет меня. Улыбочка на губах корчится. И прикуривать даже не хочется от его негаснущего огня». Страшно обиделся я на Слуцкого, прочитав его злые строки в легендарных «Тарусских страничках» (1961): уверенно подумалось, что они про моего друга Наума Коржавина, он же Эмка Мандель. Как же, мол, так? Сам же Борис Абрамович ввел единицу измерения поэтической ценности: один мандель, равняющийся ста кобзям. Кто забыл: существовал такой стихотворец Кобзев.

Но, когда я приступил к нему за разъяснениями, он ответил кратко: нет, это не про Эмку. А позже я сам допер, от чьего огня не хотелось прикуривать некурящему Слуцкому, и Самойлов, спрошенный на сей счет, подтвердил благодушно: конечно, это он обо мне.

Странно... Хотя не странней самих их отношений. Из воспоминаний Самойлова, как он спросил друга-соперника: «Не надоело тебе ломать строку о колосе?», и тот парировал: «А тебе не надоело спотыкаться на гладком месте?». Пуше того: «Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг друга».

Друг друга. Нравиться ж было бы мудрено: для этих антиподов подобное вроде полового извращения. Сердцем, выпивоха Дзизик, которому до старости, до кончины удивительно шло домашнее детское имя, и будто подчеркнуто целомудренный, в общем непьющий Борис Абрамович (для меня — только так, по имени-отчеству). Легкая, словно бы легкомысленная повадка первого — и малиновая кровь само-

любия, то и дело заливавшая лицо второго; иногда — поделом.

Даже то, что оба, Дзизик и Борис Абрамович, долгое время не допускались в печать, имело причины противоположные. «Широко известная в узких кругах» была формула Слуцкого: «Я пишу для умных секретарей обкомов», эта причудливая модификация надежд просветителей нашего XVIII столетия (как известно, намеревавшихся перекачать свой замечательный разум в Екатерину Вторую), эта формула, и два века назад оказавшаяся утопией, в советской действительности уж совсем сокрушительно разбивалась о твердые лбы тех, кто уметь не хотел. Что ж до Самойлова, пушкинианца «из поздней пушкинской плеяды», то его поразительно ранняя трезвость, которая, между прочим, и ссорила их со Слуцким, политиком-тактиком, — эта-то, говоря, трезвость и стала основой его легкости. Чей синоним — внутренняя свобода, включающая в себя неучастие в том, в чем поэту участвовать не годится.

Недаром в самоеловском шедевре «Пестель, поэт и Анна» Пушкину так тесно в революционной прагматике умницы декабриста, и он, поддерживая беседу, душой совсем не в ней. Душой да и чувственным телом: «Он вновь услышал — распевает Анна. И задохнулся: «Анна! Боже мой!» Это, замечу, при том, что много и сложно размышлявший Самойлов по убеждению был истинный государственный (опять же как автор «Полтавы» и «Стансов») и, даже пошутив в поэме «Струфиан» над почвенничеством Солженицына, незадолго до смерти в письме к Л. К. Чуковской признался, что «прежде недооценивал конструктивные стороны плана Александра Исаевича».

Если сыскать пушкинского антипода в истории русской поэзии, то это, скорее всего, Некрасов, чья надрывно-согласительная муза вспомнилась Эренбургу, когда он в статье 1956 года выводил на орбиту мало кому известного Слуцкого. Как все удачное в этом роде, аналогия оказалась шире и глубже простого сопоставления — ее раздвинула и углубила судьба Бориса Абрамовича.

Мало того, что в точности как гениальный лирик Некрасов деформировал свой дар прагматикой с ее близко лежащими целями, так и пронзительной нежности Слуцкого, его «Лошадей в океане» или «Немецких потерь», пришлось пробиваться сквозь самолюбивую жажду прикосновенности к внешней мощи державы («Я роздал земли графские крестьянам южной Венгрии... Я был внутри энергии, ее частицей был»). Мало того. Некрасовская трагедия одиножды оступившегося человека, всю жизнь не могущего простить себе оды «вешателю Муравьеву», настигла и Слуцкого, расплатившегося за участие в пастернаковской травле тяжелой душевной болезнью. Хотя он, подобно Некрасову, мог сказать (однако из гордости не сказал): «Зачем меня на части рвете, клеймите именем раба?.. Я от костей твоих и плоти, остервенелая толпа!»

Теперь они рядом, не знаю, как на небе, но в русской поэзии — точно: и мучительно умиравший Слуцкий, и Дзизик, внезапно, почти символически умерший на вечер Пастернака. Два больших русских поэта. Но спор — о стратегии, тактике, о зависимости и свободе — продолжается, пока длится литература.

● Станислав РАССАДИН



Фото Г. ЕЛИНА

Борис СЛУЦКИЙ

Ценности сорок первого

года:  
я не желаю, чтобы льгота,  
я не хочу, чтобы броня  
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого

года:  
я не хочу козырять ему,  
я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого

года:  
дело не делается само.

Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:  
уценяйтесь, переоценяйтесь,  
реформируйтесь,

деформируйтесь,

пародируйте, деградируйте,  
но без меня, без меня,  
без меня.